

Современное отщепенчество

- Социалисты
- Фурье
- Прудон

Социалисты

Старый мир лежал в развалинах. Первые лучи восходящего солнца Разума разгоняли безобразные призраки, уродливые привидения, вампиров и оборотней с кладбища человеческой мысли. С воем и жалобным стоном исчезали они, скрываясь в свои могилы, или разлетались, как туман, оставляя по себе лишь неприятное воспоминание, как от тяжелого ночного кошмара.

Правосудие Логике совершилось: жившее мечом от меча и погребло; лихоимство кончилось банкротством; насилие привело к революции, а истина, задавленная и заглушенная столько веков, сбросила, наконец, с себя цепи и готовилась создать новый мир во имя свободы, равенства и братства.

Практики были посрамлены. Все их «вечное», «абсолютное» и «божественное» оказалось несостоятельным и невозможным. Смешны казались усилия их спасти свои верования и учреждения. Смешна была эта утопия, обращенная к прошедшему, эта надежда на воскресение трупа, это горячее желание удержать рассеивающиеся образы галлюцинации.

Казалось, цель человечества была достигнута: идеал готов был обратиться в действительность, слово — воплотиться, отщепенцы — сделаться практиками. Те самые люди, которые еще недавно назывались утопистами, которые мыслили свой идеал только в воображаемых «Океанах» и «Базилиадах» и в доисторическом, досоциальном «Золотом Веке» человечества, теперь стояли во главе современного им общества, руководили им, устраивали судьбу его, были органами и представителями современной действительности.

Те самые принципы, которые еще недавно стояли вне всех условий общества, вне всякой действительности, вне реальной, практической жизни, теперь одушевляли собрание законодателей, жили в решениях их, стали законами для всего общества.

«Перед лицом мира, перед очами бессмертного законодателя» народное собрание провозгласило основанием современного порядка следующие положения:

«Все люди равны и свободны, и целью каждого общества должно быть обеспечение равенства и свободы».

«Свобода есть принадлежащая человеку власть пользоваться всеми своими способностями. Цель ее — справедливость; границы — права других людей; принцип — природа; обеспечение — закон».

«Право собственности, по природе своей, ограничено и подчинено закону. Собственность основана исключительно на труде (кто не работает — не должен есть!); поэтому каждый, по справедливости, имеет только право на вознаграждение за свой труд; все превышающее

это и достаемое помимо труда есть эксплуатация, противная правам человека. Современное общество состоит из богатых и бедных. Закон должен лишать первых излишка и давать вторым необходимое. Обладающий излишком должен помогать тому, у кого нет необходимого; он перед ним в долгу, и закон обязан определить только способ уплаты этого долга».

Таким образом, это было то самое, что проповедывали отщепенцы всех времен, что заключала в себе проповедь евангелия и христиан первых веков.

Но теперь это говорили не изверги, не отщепенцы общества, не благородные мечтатели, не простые, безвестные, неученые люди. Речь эта не была уже протестом униженных, гонимых против гнетущей их действительности.

Это говорили знаменитейшие, ученейшие, наиболее уважаемые люди своего времени, те, которых общество поставило во главе своей, те, которым оно поручило создать ему новый порядок, люди торжествующие, люди дела.

Какое торжество Отщепенства! Какое блистательное оправдание всех этих погибших героев, распятых, сожженных, обезглавленных, побитых камнями за отрицание насилия и лихоимства, за веру в справедливость, в истину, в человечество, за протест против обществ XII Таблиц и феодального нрава!

Жизнь, сама история решила долгий процесс между ними и их гонителями; приговор произнесен: позор и смерть рабству и грабежу, слава и жизнь свободе и равенству!

Навеки незабвенна останется эта эпоха, когда был произнесен подобный приговор. Это была великая и святая минута, когда целый народ устами своих представителей и нравственных вождей решил тысячелетнюю тяжбу принципов. Эра утопий кончилась. Она вела свое летосчисление с той времени, когда впервые, во всей чистоте и ясности, были выражены принципы свободы и равенства. Справедливо, чтобы момент, когда принципы эти перестали быть утопией и восторжествовали в жизни над старым порядком насилия, послужил началом новой веры.

Это был момент, когда с вышины общества, из уст его руководителей раздалась, наконец, та самая речь, которая доселе звучала лишь в катакомбах римских отщепенцев, в тюрьмах инквизиции и в застенках полиции, где казнили отщепенцев феодализма.

«Свобода невозможна, пока есть несчастные, недовольные общественным порядком; а они будут, пока все не будут собственниками, пока будут эксплуататоры и эксплуатируемые. Не должно быть ни бедных ни богатых».

«Бедный стоит выше правительства и сильных земли; он должен повелевать ими... Надо осуществить этот принцип и обеспечить всем все необходимое».

«Богатство — подлость; нищенство — преступление общества. Все должны трудиться и уважать себя».

Это речь христиан, Вальда, Мюнцера, Мора; но ее говорит теперь не отщепенец, не мятежник, не изгнанник, не осужденный — ее говорит Сен-Жюст [1], законодатель, вождь и оратор народа, проконсул республики, представитель правительства. Он говорит ее не палачам, не в следственной комиссии, не на эшафоте, а на трибуне перед лицом целого общества, которое рукоплещет ему и желает себе порядка, основанного на этих началах.

В истории Отщепенства и всего человечества не было минуты, важнее этой. Только одна может сравниться с нею, — это та чудная минута, когда Христос говорил свою нагорную проповедь.

Тогда это было обращение к принципам равенства и свободы религии. В ветхом обществе Рима и религия, и государство, и экономический порядок с своим освященным, узаконенным и организованным рабством были враждебны этим принципам. Христианство явилось победить язычество и принести человечеству добрую весть его освобождения. Оно начало этот трудный подвиг тем, что дало ему религию, основанную на равенстве и свободе, другими словами, обратило принципы Отщепенства в религию.

Но мы уже видели, каким образом религия была побеждена лицемерием; каким образом старый порядок, утвердившись в политическом и экономическом порядке, устоял против силы христианства и как истинным хранителям евангелия пришлось, по-прежнему, быть вне общества и терпеть всевозможные гонения.

Наконец, после почти двухтысячелетней борьбы, Отщепенство одержало вторую победу: оно покорило себе — кого же! — самого лютого врага своего — государство.

Представители государства, диктаторы, проконсулы и легисты, люди декретов и полиции, Неккеры [2] и Тюрго [3], Робеспьеры [4] и Сен-Жюсты проповедуют равенство и свободу! Если бы мертвые могли чувствовать, как радостно при этом вздрогнули бы сердца тех, которых некогда, во имя государственного порядка и во имя законной справедливости, растерзали львы на аренах Рима и сожгли монахи на площадях Мадрида! Как содрогнулись бы в гробах своих все эти теоретики и практики насилия, судьи, короли, юристы и политики!

Их потомки, их достойные сыны, кость от костей и плоть от плоти их, изменили рабству и насилию, которым они так честно послужили, и предлагают все оружие политики к услугам безумцев, которых они казнили! Они говорят им: «Вы правы; в вас живет истина; ваши враги — наши враги, а с врагами своими, как известно вашим предшественникам, мы умеем справляться. Отныне мы отрекаемся от того дела, которому служили до сих пор, и представляем в ваше распоряжение весь арсенал наших законов, войск, тюрем, эшафотов, полиции и судов. Вы хотите равенства — вот вам декрет; вы проповедуете свободу — наша полиция к вашим услугам; вы ненавидите насилие — вооружайтесь нашим уголовным правом; вы желаете истребить лихоимца — вот указ и гильотина!»

Таков смысл обещания, данного политическими революционерами жертвам эксплуатации, всем злосчастным классам голодных и неимущих — даровать переворот экономический путем переворота политического.

Новообращенные всегда усердствуют и тем более, чем сильнее прежде гнали то, чему начали служить. Государство и политика стали Савлом нового христианства. Они готовы были на все, чтобы услужить ему. Законы максимума, миллиард налога с богатых, содержание бедных на свой счет, гильотина откупщикам, полицейский надзор за дворянами — всем готовы они были служить своему новому союзнику. Церковь некогда была ими самими развращена и унижена до служения насилию и лихоимству, — и на это указом правительства католицизм навсегда отменен, служители его в тюрьмах и на эшафоте, шпион, вчера доносивший духовенству, нынче доносит на него...

Но здесь-то именно и более чем когда-либо обнаружилась вся непрактичность отщепенцев. Вместо того, чтобы радоваться содействию такого могущественного союзника и подать ему руку, и принять его услуги, отщепенцы более прежнего разошлись с обществом и с его мнением.

Правда, впрочем, и то, что практика этого общества могла также более прежнего оттолкнуть от себя умных и честных людей и что мудрость практических политиков потерпела еще невиданное посрамление.

Люди, в лице которых государство заразилось принципами Отщепенства, сами вышли из рядов утопистов. Можно было бы, кажется, ожидать, что, перестав быть отщепенцами, примирившись с обществом и предприняв среди его практическую деятельность, они в своей политике и посредством ее осуществят в обществе те идеалы, во имя которых отрицали практику старого порядка. Напрасная, вздорная надежда! Они только еще раз и самым блистательным образом доказали, что учреждения старого порядка не могут служить даже орудиями для водворения нового, — и что общественные формы, выработанные вековой практикой насилия и лихоимства, каковы все политические учреждения, несовместны с началами свободы и равенства; другими словами, что политические перевороты, или, вернее, перемещения, никуда негодны, как средство к перевороту социальному, т. е. к утверждению равенства наряду со свободой.

Потомство оценило личные достоинства вождей революции. Едва затихли возбужденные против них страсти, как клеветы рассеялись и замолкли, обвинения были посрамлены, и история воздала должную дань уважения их мужеству, их гражданской доблести, их чести и бескорыстию. Но на деятельности их все-таки остался неизгладимый упрек неопределенности, бессознательности, двойственности и неоконченности. Отщепенство никогда не признает их своими героями. Сильные своими принципами, они речами своими взволновали весь мир, окончательно потрясли старый порядок и открыли последний акт тысячелетней борьбы между насилием и справедливостью. Но, в то же время, они были политиками, людьми государства, практическими мудрецами, и в этом отношении они душой и телом принадлежат старому порядку. В этом отношении они были бессильны и нелепы, как он, как он, посрамлены и осуждены на бесплодность, и не создали ничего, кроме новых форм грабежа и насилия. Отщепенцы были правы, когда в лице Фурье и Прудона отвернулись от этих новых практиков и отвергли всякий союз с политической мудростью, предоставив пользоваться ею грабителям и лихоимцам в новой шкуре.

Несмотря сначала на проповедь религии, потом на отпадение государства, старый мир эксплуатации и насилия остался по-прежнему, только переменив некоторые внешние формы. Законы XII Таблиц, наивное право собственности рыцарей, узаконенный грабеж легистов расцвели в обществе, вышедшем из революции, с прежнею силой в том порядке, который заменил все прежние формы монархии, аристократии и теории под именем Плутократии, т. е. владычества капитала.

Теория плутократии отличается такою же откровенною грубостью, таким же циническим признанием насилия и лихоимства незыблемыми основами общества, как и римское уложение, как и теория феодальной собственности. Послушаем ее теоретиков: мы найдем в них достойных подражателей всех проповедников грабежа древних и средних веков.

«В каждом государстве, — говорит Монтескье [5], — всегда есть люди, отличенные богатством, рождением или почестями. Если бы они были смешаны с народом, если бы голос их не имел силы — общая свобода была бы их рабством. Им было бы невыгодно защищать ее, потому что все решения народа были бы большею частью направлены против них. Следовательно, размеры участия их в законодательстве должны соответствовать размерам других преимуществ их: они должны составлять особое сословие, которое имело бы право останавливать предприятия народа».

По поводу этого вопиющего возведения факта лихоимства, неравенства и насилия в учение и в идеал один писатель говорит:

«Только в глубокой древности можно найти примеры законодательств, основывающих право на привилегии. Такой пример представляют касты. Индия спрашивала себя, отчего существуют на свете брамины, ктатрии, вайзии, судры и презренные парии, и на вопрос этот отвечала тем, что обратила необъяснимый факт в религиозный догмат. С тех пор прошло 50 веков, и ни один законодатель не обращал в идеал факт и привилегию».

«В Индии буддизм, за десять веков до христианства, восстает против факта во имя права, отрицает касты и уничтожает их. За пять веков до Будды, Моисей выводит из Египта, страны каст, евреев, этих египетских париев и, во имя Бога, дает им законодательство, где человеческое равенство сияет, как лучезарное солнце, от которого все исходит. В Греции Минос [6] делает то же. Ликург [7] воскрешает реформу Миноса, и по следам его идет Солон [8]. Равенство, священное начало дорийских обществ, проникает к дикарям Лациума [9] вместе с религиозным культом Нумы [10]. Все древние народы знали добродетель, знали право, единственное основание которых есть понятие равенства. Наконец пришел Христос и поставил бессмертным идеалом общее братство человеческого рода и распространил божественное начало равенства на все племена и народы».

«Возможно ли теперь законодательство, совершенно чуждое идеалу, который человечество столько веков разрабатывает, которым оно живет?»

«Да, такое законодательство существует. Из грабежей средних веков вышло такое законодательство, отвергающее идеал и признающее только факт».

«Английская конституция не признает права; для нее право — факт».

«Английская конституция не признает равенства; напротив, — она освещает неравенство».

«Английская конституция не признает добродетели; она признает лишь привилегии» (П. Леру) [11].

И вот английская конституция, высшее выражение плутократии, сделалась образцом и целью грабителей, плутов и лихоимцев всех стран света!

И вот это чудовище явилось, после разрушения феодального общества, овладеть его наследством и на развалинах его утвердить свое гнусное могущество!

Плутократия нелепее и возмутительнее аристократии. Феодальный грабитель мог, указывая на свою добычу, сказать по крайней мере: «я приобрел это своим кулаком, ценою тяжелой борьбы, с опасностью жизни, рядом ночей, проведенных в засаде, рядом дней, проведенных в боях».

Но что скажет о своей добыче барон капитала, плутократ? Может ли он чем-нибудь объяснить, не говоря уже, оправдать свое владение? Может ли он, по примеру аристократов, сказать: мои предки добыли это своею кровью; вот почему я владею этим, и если не все земли принадлежат нам, аристократам, то это потому, что у нас несправедливо оттягали их. Но плутократ, нажившийся без трудов и опасности, что ответит он, если у него спросят, откуда у него богатства, владения, привилегии, власть? Вышел ли он из благородных уст Браммы или помазан на владычество священным елеем? Добыл ли он себе эти *spolia opima* {34} в открытом бою, лицом к лицу с врагом, или первый водрузил свое знамя на необитаемых землях, открытием которых распространил владения человечества?

Нет! Плутократ — скептик, атеист, волтериянец: он не верит ни в Брамму, ни в елей. Нет, нравы его мирны, он враг войн и сражений; он называет завоевание разбоем, а что касается до открытий, то Колумбы не родня ему, и он открывает только свои конторы и лавки в странах, открытых другими.

Кроме обмана, эксплуатации, плутовства и лихоимства, ему не на что указать, как на источник богатства и власти, и потому он предпочитает умалчивать вовсе об источнике и просто говорить: «Я хочу грабить».

Плутократия — царство бездельников, плутов, разбогатевших бесчестными средствами и в обществе столь же диком и анархическом, как то, которое в VI и VII веках вышло из лесов Германии, но где плутня заменила насилие, а мошенничество — открытый разбой на большой дороге. Как всякое анархическое общество, где учреждения взаимности и гарантисма не обуздывают первобытные варварские явления борьбы за существование, современное общество представляет собою вечную вражду угнетенных и угнетателей. Угнетатели — это рыцари меркантилизма, феодалы торгашества, сеньоры капитала, бездельники и плуты. Угнетенные — те же рабы, крепостные под именем пролетариев. Пролетарии, по словам одного писателя плутократии, это все те, «кто живет тяжелым поденным трудом своих рук. Вчерашний заработок — вот все, что они имеют сегодня. Люди, не имеющие поземельной собственности, которые никогда не будут иметь ее, которым не смеют даже обещать ее; люди бедные, темные, лишенные наследства, переходящего от

отца к сыну; люди, вся потомственная традиция которых состоит в необходимости зарабатывать себе каждый день насущный хлеб; люди эти — пролетарии, а состояние их — пролетариат. Сюда принадлежат: 1) работники, 2) нищие, 3) воры и 4) публичные женщины. — Работник-пролетарий зарабатывает себе, и то не всегда, кусок хлеба насущного. — Нищий-пролетарий не может или не желает работать и выпрашивает себе кусок хлеба насущного. — Вор-пролетарий не желает или не может работать и не просит милостыни, а ворует кусок хлеба насущного. — Публичная женщина-пролетарий не может или не желает ни работать, ни просить милостыни, ни воровать, а добывает кусок хлеба проституцией».

Так рассуждают писатели плутократии, и, конечно, они правы. Да, вот они, эти работники — пролетарии, рабы, крепостные люди, вся судьба которых представляет ряд невозможных, по-видимому, противоречий. Они работают и ничего не имеют, ничего не имеют и, в то же время, служат жертвой постоянного, каждодневного и каждочасного грабежа. Они содержат общество и находятся в глубоком презрении. На них паразитами живут наука, искусство, роскошь, все чудеса цивилизации, а сами они, ее кормильцы, погружены в безвыходное варварство и в мрачную грязную нищету. Рабочий кормит общество, кормит правителей, ученых, литераторов, художников, судей, духовенство, войско и палача. Публичная женщина принимает на себя все грехи этого общества, спасает честь его жен и дочерей, спасает их добродетель, дает существование семье, потому что без нее семья была бы невозможна: дикие страсти анархического общества давно уничтожили бы ее в общей оргии разврата. Без нее ничто не оградило бы чести женщины. Публичный дом — такое же необходимое учреждение в анархическом быте цивилизации, как суд, как тюрьма, как богадельни и приюты.

А нищий и вор? Нищий — идеал христианства, идеал святой жизни по св. Франциску. Вор — человек, который видит, что все просвещенные, мудрые, высокие люди живут не трудясь, на счет бедных, на счет собратьев его, и который хочет следовать их примеру, на свой страх и риск, жить по образцу их хотя и не тем безопасным, легальным воровством, которому они обязаны своим существованием, а воровством запрещенным, незаконным.

Да, мораль высоких бездельников, мораль плутократии, эта насмешка над моралью, клеймит нищего и вора, преследует их своим презрением и судом. Но мораль эта — не мораль пролетариев. Бездельники сами поставили себя в такое положение, что у них ничего не может быть общего с пролетариями, — даже нравственности. Иное дело нравственность сытого, обеспеченного бездельника, иное дело мораль голодного пролетария. Пусть первая будет возвышеннее, просвещеннее, утонченнее, она не то, что вторая. В глазах плутократов воровство и нищенство пролетариев бесчестны и презренны. Но в глазах пролетария — нищенство, единственное для него средство выйти из глупого положения работника на чужие желудки, из положения белки в колесе. Воровство же для него — единственно возможная для него форма личного, единичного протеста против эксплуатации. Весь смысл современной истории — в этой борьбе плутократии с пролетарием, как прежде в борьбе других угнетенных против других угнетателей. Каждый пролетарий, по самому положению своему, — отщепенец современного общества, сознательный или бессознательный. Сами плутократы сознают это, когда говорят, что пролетарий тот, кому нет места на пире жизни, т. е. другими словами, тот, кто стоит вне общества, за флагом, за порогом того дома

разврата, где пирует высшее общество. У пролетария нет ничего общего с классом плутократии, не только в социальных условиях его быта, но и в понятиях, интересах, взглядах, желаниях, верованиях и надеждах. Общество, т. е. сословие жуирующее, насаждающее искусства и науки, разглагольствующее о нравственности и истине, совершенно чуждо пролетарию, у которого своя особая вера, особая нравственность, особая истина и особые упования. Как древний христианин смотрел с ужасом на каждого, кто не разделял его веры, не разбирая честного от подлеца, виновного от невинного, мудрого от глупого, и смешивал в своей святой нетерпимости Платона и Плиния с последним палачом, с последним лживым авгуром [12], так и пролетарий считает равно виновными, равно бесчестными и вредными всех, кто питается чужим трудом, кто живет не работая, кто мудрствует, просвещается, наслаждается и прославляется на счет его, вечно голодного, вечно ограбленного пролетария, будь он первый ученый, первый поэт своего времени. Так точно смотрит на женщин плутократии публичная женщина, равно презирая с высоты величия своего доблестного, смелого разврата всех этих непорочных девственниц и целомудренных жен.

Да, каждый пролетарий — истинный отщепенец плутократии, т. е. современного общества. Всякий необходимо должен быть отщепенцем, по логике своего положения, но много уже есть и таких, которые сознательно отщепенцы. Так, напр., когда, по примеру Монтеские, все европейские общества благоговеют перед высшей формой плутократии — английской конституцией со всеми выработанными ею явлениями в роде науки, как политическая экономия, философия — как позитивизм и т. д., в самой Англии пролетарии, простые работники, старики и отцы семейств, осужденные на казнь за покушение ниспровергнуть эту пресловутую, блаженную, великую конституцию, говорили в глаза своим судьям такого рода *profession de foi*{35} Пролетариата: «Милорды! Меня спрашивали, что могу я сказать, чтобы отвратить от себя выполнение произнесенного надо мною смертного приговора. Считаю этот вопрос насмешкой. Если бы я мог привести самые неопровержимые доводы и говорить с Цицероновским красноречием, то мстительность лорда-канцлера Сидмута и лорда Кестльри может утолить только поток крови, текущий теперь в моем сердце. Это сердце трепещет энтузиазмом при идеях чести и патриотизма, неизвестных тем привилегированным изменникам нашего отечества, которые с наглым бесстыдством поработают его себе и владычествуют над жизнью и имуществом державного народа. Я объясню вам мой образ действия, но заранее предупреждаю, что не имею ни малейшей надежды на ваше правосудие и честность. У вас правосудие утонуло в честолюбии и в раболепии, служащем честолюбию. Что касается до вашей честности, милорды, — я презираю ее. Не вздумайте предложить мне ваше милосердие; я желал бы только правосудия, если бы мог предполагать его в вас».

«Прежде всего я протестую против процесса в том виде, как вы вели его против меня. Судьи, которых обыкновенно считают у нас защитниками обвиненных, в процессах между народом и короной всегда бывают адвокатами второй, непримиримыми врагами первую».

«Еще несколько часов — и меня не будет. Но ночной ветер, веющий над могилой, где буду я покоиться, пахнет в окна ваших дворцов, застучит ставней вашей спальни, и дыбом встанут у вас волосы и беспокойно будете метаться вы на ваших пуховиках при страшном воспоминании о том, кто жил для родины и умер за нее, когда свобода и правосудие были

изгнаны из ее пределов шайкой злодеев, кровожадность которых превосходит лишь алчность их».

«Мне не жалко жизни. Но пока она еще во мне, я скажу несколько слов против клевет, которыми, я уверен, вы будете преследовать мою память. Я скажу, что побудило меня составить заговор против королевских министров и сравню мои побуждения с теми, которые руководят этими министрами в намерении погубить меня».

«Многие, кому известен подлый грабеж, которому я подвергся от лорд-канцлера Сишута, подумают, пожалуй, что я руководствовался личной ненавистью. Протестую против этой мысли. Цель моя была — благо родины. Все честолюбие мое ограничилось желанием счастья моим голодным соотечественникам. Да, я сочувствовал их нищете. Но когда над ней насмеялись, когда болезненное чувство их было безжалостно попрано грубым насилием, — тогда я не мог сдержаться. Мстить решился я тогда, и из вопля убийц сделать Requiem {36} за души зарезанных невинных жертв! Государственная измена была совершена против несчастного манчестерского народа. Правосудие не вняло мольбам безжалостно искалеченных, убиваемых. Принц-регент, по совету своих министров, благодарил убийц, еще дымившихся кровью жертв. Если бы в груди англичан тлела хоть искра чести, независимости, они восстали бы, как один человек. Восстание стало бы обязанностью гражданина, и кровь жертв сделалась бы зунгом мести убийцам».

(Верховный судья лорд Аббот прерывает оратора, но он продолжает:)

«Альбион [13] лежит в узах рабства; я покидаю его без сожаления; придет день, когда могиле моей будут молиться и поклоняться станут праху моему; но тело мое перейдет в землю, из которой вышло. Я скорблю только о том, что земля эта еще долго будет ареной рабов, мошенников и деспотов. Потомство оценит мои побуждения. Убивайте же меня, милорды, ибо, повторяю, правосудия я от вас не жду, а помилования не возьму» {37}.

И сказал за ним Джемс Айнгс:

«Слуги Е. В. составили заговор против нас прежде, чем мы против них; они предписали нам законы, обрекавшие меня, мою семью и моих соотечественников на голодную смерть, и если я хотел зарезать этих министров, то, милорды, это все-таки лучше, чем принуждать людей умирать с голода. Манчестерская милиция кинулась на нас и била наших жен и детей. Она обнажала свои мечи, мы обнажали свои. Я умру, сомнения нет; но надеюсь, что дети мои будут жить и увидят, наконец, правосудие в окровавленном своем отечестве».

Так говорили эти отщепенцы перед медными лбами и каменными сердцами тиранов плутократии. И их казнили, и не дрогнула земля, и народ не восстал, как один человек, и не разнесли вдребезги эту чудовищную систему тирании, и не заклеили клеймом богоубийц этих бездушных злодеев, убивших правозвестников божественной истины и с спокойной, холодной самоуверенностью говоривших:

Кровь их на нас и на детях наших!

Что же это! Неужели же человечество вышло из варварского грабежа только для того, чтобы очутиться в грабеже цивилизованном? Неужели только для того перестали резать его, чтоб начать душить? Неужели не будет конца царствию лихоимства и насилия? Неужели не явится ни мститель, ни спаситель?!

Этому измученному, разочарованному, готовому впасть в отчаяние человечеству нужен человек или бог, который вдохнул бы в его разбитую грудь живительный дух новой веры; который указал бы ему новый светлый идеал, лучезарный маяк, куда с новою энергиею обратились бы стремления народов; который дал бы ему силу веры и надежды в борьбе с этим безысходным несчастьем, в тяжелых мытарствах его в заколдованном круге лихоимства и насилия!

Этому оскорбленному, опозоренному человечеству нужен человек или демон, который поразил бы священным огнем гениального гнева тысячелетнее зло; который поставил бы к позорному столбу гнусную плутократию и каленым железом отметил бы ей на лбу память ее преступлений; который низверг бы в грязь развратницу и призвал бы людей водрузить на трупе ее знамя равенства и свободы!

Но где эти люди? Где верующие в искупление народа от грабежа и насилия плутократии, этой фурии цивилизации?

Эти люди, эти верующие — социалисты, которые вели и будут вести борьбу за освобождение самого многочисленного и бедного класса рабочих. Эти бойцы — апостолы XIX века. Несмотря на видимое разнообразие школ, на которые распадался Социализм, тем не менее значение и направление их одно и то же. Все социалисты проповедают свободу, равенство и братство, все восстают против плутократического порядка, все отрицают его единодушно и, во имя народа, во имя его права и достоинства, все желают и требуют прекращения грабежа и насилия.

«Социализм, — восклицал Прудон, — не спускает глаз с капитала!» Другими словами, Социализм защищает права рабочего народа и предупреждает лихоимцев, тунеядцев и всех вообще вампиров-плутократов, сосущих его кровь, чтобы они были осторожнее.

Социалистов не запугает нечистая сила богатства! Они веруют в правду своего дела и потому не боятся угроз шайки негодяев, у которых «на лицах наглость, в сердце страх».

«Вспомните, — говорил Иоанн Златоуст людям IV века, — вспомните, сколько христиан приняло венец мученичества! Их убивали, пытали, бросали скованных в темницы, как последних преступников, изгоняли из отечества, преследовали, как диких зверей, и лишали их всего, что дорого человеку. Мечи обнажались, кровь лилась, власти бесновались и придумывали для христиан самые страшные казни и мучения. И что же? Не взирая на все это, верующие во Христа были непоколебимы и тверды, как скалы. Они желали лучше подвергаться всяким истязаниям и мукам, чем жить по примеру подлецов и преступников. Так вели себя не только мужчины, но и женщины. В этой борьбе за правду женщины часто даже превосходили мужчин своим геройством. И все они, эти славные мученики, обессмертили свои имена. Но кроме их, мучениками следует назвать и всех тех, которые

страдают от людской злобы».

Как христиане были отщепенцами римского мира, так точно являются и социалисты отщепенцами старой европейской цивилизации. Как те, так и другие — люди верующие, ведущие борьбу с лицемерием и подлостью.

Пятнадцать веков после Иоанна Златоуста Прудон писал из тюрьмы:

«Пусть власти составляют заговоры против народов;

Пусть антихрист-папа прокликает свободу;

Пусть республиканцы падают под ударами штыков и умирают под стенами городов;

Но равенство, свобода и братство остаются все-таки идеалами общественного устройства!

Да, социалисты, мы побеждены, унижены, обезоружены, скованы и заключены.

Но, социалисты, разве мы перестали быть людьми будущего? Разве мы потеряли веру в себя и в свое дело?

А вы, малодушные и кровожадные плутократы, вы лицемеры и подлецы семейства и собственности! Спокойно вам теперь живется? Весело празднуете вы свою победу? Я слежу за вами, люблюсь вами, и что ни слово, что ни жест ваш — я говорю: вы пропали!»

Плутократия — вонючий труп старого общества, труп, над которым социалисты производили самые поучительные опыты, наблюдения и научные исследования.

В этом отношении социальной науке полезнее всех были примерные отщепенцы — Фурье и Прудон.

Фурье

Фурье принадлежит бесспорно к числу самых замечательных и редких мыслителей нашего века. Одаренный глубоким нравственным смыслом и проницательным умом, он рано понял всю гнусность старого общественного порядка и стал в ряды непоколебимых отщепенцев.

Фурье провел всю свою честную и полезную жизнь почти в совершенном одиночестве. Такая жизнь, конечно, развила в нем идеализм и заставила его мечтать о создании нового общественного порядка, который дал бы гармоническое развитие всем способностям и страстям человека.

Не говоря о плане этого нового порядка, который практические мудрецы или, вернее, глупцы называют фантастическим, заметим, что Фурье, как отщепенец, любил парод и защищал его права.

Фурье раньше всех провозгласил право на труд, без которого нельзя обеспечить участи самого многочисленного и бедного класса людей.

Фурье раньше всех заговорил об ассоциации, конечно не подозревая, что практики исказят его здравую мысль.

Фурье громче и разумнее всех ратовал за свободу женщины и первый объявил, что без этой свободы нет прогресса.

За все это Фурье заслуживает бессмертную славу.

Этот образцовый отщепенец прославил себя также критикой цивилизации, которую он искренно презирал и ненавидел.

После переворота 1793 года иллюзии рассеялись: политические и юридические теории опошлись, и к ним окончательно потеряли всякое доверие. С тех пор стало ясно, что нельзя ожидать никакой пользы от старых учений, что надо искать общественного блага в какой-нибудь новой науке и открыть новые пути политическому и социальному развитию. Стало очевидно, что ни политики, ни законодатели не умели помочь общественным бедствиям и что самые постыдные язвы, между прочими и нищета, не перестанут существовать, пока не падут все старые учения.

«Это соображение навело меня, — говорит Фурье, — на мысль об общественной науке, которой даже не подозревали. Во мне зародилось желание открыть ее, и я не побоялся привести его в исполнение. Я мечтал только о славе сделать такое открытие в области науки, какого даже не грезилось мудрецам-практикам».

«Бодро выступил я на этот новый путь и стал разоблачать заблуждения веков и в особенности бедствия общественной жизни: нищету, воровство-мошенничество, торговый монополизм и многие другие язвы, которые заставляют считать цивилизацию наказанием самой природы».

«Я пришел к тому убеждению, что, если человеческие общества страдают, но мнению Монтескье, „изнурительною болезнью, внутреннею язвою и заражены скрытым ядом“, то излечить их можно не иначе, как сойдя с того пути, по которому шли наши практические мудрецы в течение стольких веков. На этом основании, я поставил своим правилом: безусловное Отрицание и безусловное Отщепенство. Надо определить эти два метода, потому что до меня никто еще не давал им полного, всестороннего развития».

«1) Безусловное Отрицание. Декарт понимал его. Но восхваляя и проповедуя отрицание, он прилагал его частным и неуместным образом. У него являлись смешные сомнения. Так например, он сомневался в собственном существовании и только мудрил над старыми, избитыми софизмами, а не заботился об открытии полезных истин».

«После Декарта [1], метод отрицания совсем искажается».

«Лжеотрицатели пользовались им только в тех случаях, когда старались подорвать веру в такие учреждения, которые им почему бы то ни было не нравились. Так например, они отвергали не суеверие, а только обрядность, потому что враждовали с духовенством. Но при этом они ни за что не решались подрывать доверия к тем системам и теориям, юридическим и политическим, которыми кормились».

«Не имея ничего общего с этими шарлатанами, я решился отрицать безразлично все ходячие, рутинные теории и стал смотреть подозрительно даже на то направление мыслей, которому вообще сочувствовали. С отвращением и презрением смотрел я на современную цивилизацию, на этот идол практических мудрецов, который они так страстно обожают».

«Что может быть нелепее этой цивилизации, которая порождает и развивает столько бедствий и страданий! Что может быть сомнительнее ее пользы!»

«Нет, следует непременно отрицать цивилизацию, следует сомневаться в ее необходимости, в ее совершенстве, в ее прочности. Но на такое отрицание не способны философы рутины. Они не способны, потому что, отрицая цивилизацию, стали бы обличать, вместе с тем, и ничтожество своих теорий, неразрывно связанных с цивилизацией. Эти теории пали бы тотчас под ударами отрицания, и на развалинах их появилась бы новая наука, наука общественного благосостояния и правды».

«Практические мудрецы и ученые осуждены лгать, лицемерить, тупеть и пошлеть, потому что не помышляют об интересах общества и о научной правде, а желают только поддержать суеверие и невежество и обеспечить свое тунеядное существование. Вот почему они обходят молчанием все важные общественные вопросы или, еще хуже, искажают их значение самым плутовским образом».

«Мне не приходится защищать обман и насилие. Я не принадлежу к партии практических мудрецов, и потому могу смело отрицать цивилизацию с ее пагубною ложью и коварством».

«2) Безусловное Отщепенство. Я отлучаю себя сознательно и добровольно от всех партий старого порядка, от всех политических и философских школ, которые не оказали обществу никакой полезной услуги и только всегда держали его в пеленках детства и скудоумия. Несмотря на все чудеса промышленных изобретений, нищета рабочих остается неизлечимою и хроническою болезнью общества. Вот почему я не доверяю учению экономистов, прославляющих современную промышленность, и презираю их надутый либерализм. Они неспособны создать экономическую науку, и на всех писаниях их лежит печать умственного бессилия. Настоящие вопросы общественной жизни их не занимают, и они поют только старые песни на новый лад».

«Я отлучил себя от рутины. Меня не волнуют интересы старого государственного порядка. И не стану я трактовать о правах королей, об обязанностях министров, судей и палачей. По сие время все практические мудрецы постоянно добивались общего блага путем законодательных, административных, судебных и полицейских мер. Но я отрицаю пользу всех подобных мер и признаю действительными только те реформы, которые ведут к улучшению быта рабочих и не требуют вмешательства властей, как светских, так и духовных».

«И вот, на безусловном отрицании всех старых понятий и предрассудков, на безусловном отщепенстве от рутины я строю здание новой общественной науки, непонятной нашим практическим мудрецам».

«Цель моя — не исправлять цивилизацию, а обличать ее и возбуждать желание организовать новый общественный порядок. Практика цивилизации нелепа в целом и в частностях. И что же? Новомодники, вместо того, чтобы размышлять, все более и более погружаются в политическое безумие. Лучшим доказательством этого могут служить последние бредни их о чудесах торгашеского духа, против которого восстают и разум, и природа».

«Природа никогда не ошибается в тех общих побуждениях, которые она дает человечеству. Когда большинство народов презирает торгашество, когда презрение это внушается ему естественным инстинктом, то поверьте, что в предмете, вызывающем такое чувство, таится какая-нибудь пакость».

«Кто прав: новомодники, уважающие торгашество, или древние, презиравшие торгашей, *Vendentes et latrones*, торгашей и воров, говорит Евангелие, считавшее их за одно. Так думал Иисус, который бичом изгонял купцов из храма, приговаривал: «Вы обратили дом мой в воровской притон». «*Fecistis iam speluncam latronum!!*»

«Как Иисус, так и все древние приравнивали купцов к ворам и поручали их заодно покровительству Меркурия. В это время торгашество считалось почти бесчестьем. Златоуст говорит, что „купец не может быть приятен Богу“. Итак, купцам нет места в царствии небесном, хотя там есть представители всех сословий и даже один прокурор, именно Св.

Ив.»

Я упоминаю о всех этих подробностях, чтобы яснее показать взгляд древних, с которым хочу сопоставить воззрения современников. Я далеко не разделяю мнения древних: истреблять и преследовать купцов так же нелепо, как нелепо и превозносить их до небес. Но из этих двух нелепостей взгляд древних, по-моему, несравненно разумнее.

«Древний предрассудок, обрекавший торгашество презрению, господствовал долго. Еще в 1788 году школьники в ссорах своих обзывали друг друга купеческим сыном, и это считалось жестокой обидой. Этот дух господствовал особенно в провинциях; дух же торгашества был сосредоточен в портовых городах и в столицах, где живут знатные банкиры и великие барышники. Только в 1789 году купцы вдруг обратились в полубогов: подлые ученые громко стали защищать и прославлять их, как полезных граждан».

«Итак, вначале торговля была в общем презрении и заслужила уважение в глазах ученых, когда обстоятельства дали ей торжество. С тех пор, как откупщики и разные подрядчики стали разъезжать в каретах шестериком, ученые восхваляют их добродетели и пожирают их обеды. Прежде философы занимались раскапыванием разной старины и религиозными ссорами, не обращая внимания на торговлю. Наконец они увидели, что новая политика торгашества и монополия может дать им материал на множество толстых томов и успех в обществе. И вот появляется шайка так называемых „экономистов“, которые в самое короткое время успели уже извести бездну бумаги и обещают пероблудствовать без конца».

«По обычаю всех софистов, эти мнимоученые стараются как можно больше запутать дело, чтобы иметь возможность заводить полемику и, по этому поводу, без усталости строчить, живя на счет своих читателей. Можно сказать, что экономисты не только ничего не открыли, но даже сами не знают, о чем толкуют и к чему существует их так называемая наука. Но им, впрочем, какое дело? Типографские станки все терпят, книги раскупаются, и цель пероблудия достигается».

«Не спрашивайте экономистов, чего они хотят, чего добиваются и предполагают ли бороться против политических зол, против возрастания налогов, грабежа крючкотворцев, увеличения армий, развития банкротства и фискальной подлости. Не спрашивайте их, потому что, со времени появления на свет экономических теорий, все эти бедствия быстро возрастали. Не лучше ли было бы поменьше строчить вздора и побольше хлопотать о разрешении существенных вопросов? С какой стати решились экономисты восхвалять ложь, т. е. торгашество? Что такое торгашество? Ведь это ложь со всеми ее принадлежностями: банкротством, ажиотажем, лихоимством и плутовством всякого рода. Но политическая экономия набрасывает покров на эти скандалы. Где же причина такого бесстыдства?»

«Решившись восхвалять торгашество, экономисты мерили все только на вес золота. Они видели, как быстро наживаются торгаши, как ловко умеют они обманывать и безнаказанно грабить, сохраняя вид приличия и пускаясь на самые подлые увертки. Конечно, всякий осел может в один месяц изловчиться и обратиться в искусного торгаша. Но, при всем том, роскошь лихоимцев и спекуляторов, которые соперничают с аристократами и сановниками, обольстила экономистов, а надежда поживиться заставила их подличать перед толстыми

карманами. Плутусы торгашества поразили их своим величием, и вот они стали холопами барышников».

«И как, право, не удивляться лихоимцам, которые...

“ Sachant pour tout secret

Cinq et quatre font neuf, ôtez deux — reste sept. (Boileau)».

Зная по секрету, что пять плюс четыре — девять, а если от этого отнять два — останется семь (Вуало [5]) (фр.).

«При помощи такого знания, они умеют наживать дома и дворцы в тех самых городах, куда пришли в лаптях. В столицах они ведут самую роскошную жизнь, ни в чем себе не отказывают, даже в знакомстве с экономистами. На обедах у какого-нибудь торговца экономист сидит рядом с архиепископом и посланником. Как же не прославлять ему таких кормильцев!»

«В цивилизации правдой не проживешь! Малодушные экономисты преклонились перед золотым тельцом и не смеют написать ни страницы без лести торгашеству».

«А между тем они могли бы возратить себе утраченное уважение общества, если бы захотели обличать разбой торговцев, которые презирают их».

«Разбор торгового разбоя покажет, что сословие торговцев — просто шайка пиратов, стая коршунов, пожирающая промышленность и земледелие и порабощающая себе все общество».

«В оправдание их можно сказать, что они не понимают, до чего они вредны. Но даже если бы и понимали, то можно ли обвинять их, когда они поступают по всем правилам цивилизации, обратившей общество в арену грабежа, обмана и насилия?»

«Торгашеский дух развращает политику и нравы народов, как доказывают примеры Карфагена и Англии. Вероломная политика их, *rupica fides*{38}, вошла в пословицу. Жидов, образцовых торговцев всех стран и народов, верно характеризует один писатель. «Они рыскают, — говорит он, — по Лондону, подстрекая слуг обкрадывать хозяев, и платят фальшивыми деньгами за краденные вещи».

«Тоже говорит другой автор об армянах: «Армяне скрытны, подлы, коварны, пускаются на всякий обман и плутню. Им все с руки, все ни почем — унижение, презрение, оскорбление, лишь бы достичь своей цели. Даже религия для них орудие лихоимства и обмана. В России они православные, в Персии — они правоверные» и т. д.

«Конечно, это относится не в одним жидом и армянам, а ко всему торгашескому сословию: жиды и армяне только представители торгашеского духа в каждом народе.

«Паук — эмблема цивилизованной торговли».

«Надо постоянно беречься паука, который всегда готов завладеть каждым углом, оставленным хоть на сутки без внимания».

«Торгаш также водворяет свою лавку или свой магазин всюду, где только может — в самых грязных улицах, у самых великолепных памятников; стоит только не присмотреть за каким бы то ни было местом, чтобы завтра же там появились торгош и паук».

«Лавка и паутина представляют в различных видах своих все переходы от прекрасного к безобразному: одни грязны и отвратительны, другие блистают чистотой, порядком и симметрией. И здесь, и там остроумный механизм проволок и звонков извещает хозяина о прибытии постороннего».

«Хозяин, — торгош или паук, — проводит всю жизнь в углу своей лавки или паутины. Уши и глаза его постоянно настороже: он смотрит, прислушивается; в этом все его дело».

«Лавка воздвигнута, паук уселся на свое место. Горе неосторожному, двуногому или многоногому, кого роковая судьба приведет в его паутину. Едва вступил он на нее, хозяин уже знает это, и участь пришлеца решена. Торгош или паук кидается на него, хватая добычу, обволакивает ее слизистыми нитями или медовыми речами. И опутав его члены или рассудок, они погружают ему в сердце или кошелек свое жадное сосало».

«Тогда они принимаются сосать и сосут, пока не высосут все, и затем с пренебрежением отворачиваются от этого бескровного трупа, от этого пустого кармана».

«У паука голова покрыта глазами, громадное брюхо, длинные, крючковатые лапы; но груди, сердца нет. Паук пожирает подобных себе; самка жрет самца и детенышей. Торгоши также ведут друг с другом вечную войну, не щадя ни родных, ни соотечественников; толстые всегда пожирают тощих».

«Труд паука и торгоша состоит в том, чтобы раскидывать паутину и хватать добычу; от этого труда они жиреют на счет других, но для общества труд их бесплоден; на что годна паутина?»

«Цивилизованная торговля — паук; а промышленность — муха, которую она сосет, истощает и убивает. А между тем секта экономистов неистово кричит: „Дайте полную свободу купцам“, *laissez faire les marchands!*»{39}

«Торговля грабит общество и порождает в нем множество самых возмутительных преступлений, которые ускользают от законного преследования. Самые очевидные и гнусные преступления торгошества заключаются в банкротстве, кулачестве, ажиотаже или лихоимстве и паразитизме или тунеядстве».

«1) Банкротство грабит общество в пользу купцов, которые ничем почти не рискуют, ничего не теряют. Расчетливый торгош вычисляет заранее, сколько он должен брать процентов, чтобы барышами обеспечить себя на случай несостоятельности. Если же купец нерасчетлив или крайне плутоват (эти два качества в торговле очень сходны), то он не замедлит сам вознаградить себя банкротством и вернуть все, что потерял от двадцати других банкротств.

Таким образом весь ущерб наносится одному лишь обществу, а купечество благоденствует».

«2) Кулачество грабит общество возвышением цен скупленных товаров и продуктов, заставляя потребителей платить огромный налог».

«3) Ажиотаж грабит общество отвлечением капиталов от производства на биржевую игру. Фабрики, заводы и все ремесла, нуждаясь в капиталах, принуждены доставать их за страшные проценты».

«4) Паразитизм, т. е. тунеядство, вследствие размножения непроизводительного класса торгашей, грабит общество двояко: уменьшая число рабочих рук и побуждая купцов и лавочников вести междоусобную войну, в которой сильные давят слабых и добиваются монополии продажи. Торговая конкуренция развивает обман, подлог, гнусное шарлатанство и вызывает умышленную подделку и порчу товаров и, в конце концов, разрешается банкротством и монополем».

«Такова цивилизованная торговля в общих своих чертах. Очевидно, что она требует обуздания. Дело в том, что всякий торгош, который сам не производит и не потребляет вещей и товаров, должен считаться ответственным их хранителем, а вовсе не полновластным собственником. Все купцы и вообще торговые посредники должны подчинять свои действия общей пользе, а не заниматься мошенническими оборотами, которые страшно вредят обществу».

Для обуздания торговой конкуренции, Фурье думает, что полезно брать с купцов, кроме пошлины за право торговли, известный денежный залог и ежегодно его увеличивать. Этою мерою достигается та цель, что число торгашей с году на год будет уменьшаться, а чем их будет меньше, тем легче за ними уследить и обуздать их. Денежный залог купца, кроме того, может идти на уплату его долгов в случае несостоятельности.

Фурье всегда возмущался, что торгашам, неспособным или нежелающим работать, дается право воровства-мошенничества, между тем как беднякам, которые просят работы, не хотят даровать право на труд. Все для мошенников и воров, а ничего для рабочих! Вот до чего дошла цивилизация!

«Цивилизованные народы! Отчего ваши общества и учреждения уничтожаются так быстро и часто. Вы жалуется постоянно на непрочность своих созданий. Перестаньте приписывать времени и случаю эти перевороты; они происходят от несостоятельности и неуместности ваших социальных систем, которые не упрочивают за бедным ни труда, ни средств к жизни».

«Человек имеет право есть, право, которого никогда не хотели признать за ним философы и законодатели. Они не смеют отрицать принцип, что кормиться следует только трудом рук своих, В таком случае член общества, способный трудиться, имеет право на труд, и, заставляя его работать, чтобы жить, общество обязано дать ему работу, за неимением которой он может, как дикарь, брать все, что не попадется ему под руку. На это философы отвечают, что нет больше работы, нет больше земель для возделывания, нет заказов на фабрике; следовательно, он должен обходиться без еды и умирать с голода вместе с женою

и с детьми во имя прогресса прогрессивной цивилизации. Эти несчастные негодуют, отказываются умирать голодной смертью и думают но без основания, что общество и правящие им ученые должны были бы отыскать способ назначить людям, оставленным без работы, необходимые средства для пропитания. На этом основании они идут и стараются разжалобить прохожих и вымолить подаяние. Власти хватают их и внушают им, что нищенство преступно и потому наказывается. Страх голодной смерти или тюремного заключения побуждает более смелых и решительных заниматься просто воровством. Их тоже хватают и вешают за то, что они пожелали пользоваться правом жить, правом, которого не оспаривают ни у одного из существующих животных, потому что никогда не вели процесса с собаками и с кошками за то, что они едят, когда захочется, да еще даром, между тем как голодные бедняки предлагают за это свой труд».

«Чудный результат цивилизации! Человека запирают и тащут на виселицу, когда он хочет пользоваться самым постоянным из своих прав — кормиться, работая. И в таком-то обществе шарлатаны науки смеют говорить о гарантиях, балансе, равновесии!»

«Очевидно, что цивилизация так бедна средствами, что не может и думать выполнить условия общественных и личных гарантий и обеспечить право на труд».

Прудон

Прудон родился в 1809 году в г. Безансоне, где родились также Фурье и Виктор Гюго.

Отец Прудона был бочаром, а мать кухаркой; они имели пятерых детей и жили в крайней бедности.

«Кто беден, тот мне родня», — говорил всегда Прудон, и сам жил и умер бедняком в 1865 году. Вот что писал он в 1837 г., когда вступал на поприще общественной деятельности:

“ «Я родился и воспитался в среде рабочего народа; с ним делил я радость и горе; с ним жил умом и сердцем. Цель моей жизни — работать без устали на пользу тех, кого люблю я называть своими братьями и товарищами. И эта цель будет достигнута, и буду я счастлив, если мне удастся посеять в народе семена того учения, которое я признаю законом нравственного мира».

Прудон сдержал свое обещание. Вся жизнь его прошла в труде и в борьбе за народное дело.

Во время июльской монархии, в самый разгар общественного разврата, молодой и пылкий Прудон принялся за дело народного воспитания. Прежде всего, как настоящий отщепенец, не гоняясь за личной выгодой и положением в обществе, он стал внимательно изучать социальные вопросы. Текущая литература и журналистика его не занимали. В них он видел пустое словоизвержение, вздорную игру разных партий, которые увлекались ежедневными спорами и вовсе не думали о логическом проведении своих идей.

Желая разгадать смысл современной цивилизации, Прудон углубился в изучение памятников исторического Отщепенства и обратил особенное внимание на Библию и Евангелие. В них открыл он источник социализма, который с начала нашего века стал религиею всех честных мыслителей. В первой своей брошюре «О праздновании воскресенья» (*De la célébration du Dimanche*, 1839) Прудон доказал, что Моисей, а за ним Христос были первыми социалистами, которые желали облегчить участь рабочего народа. За эту брошюру Безансонская академия наградила Прудона почетною медалью.

Но этот отщепенец не мечтал сделаться ученым археологом и академиком. Он изучал и писал не для стяжания похвал и наград, а с целью образовывать себя и других. Не упуская из вида вопросов социализма, от Библии он прямо перешел к разбору политической экономии.

И вот в 1840 году появляется знаменитое его сочинение «Что такое собственность?» — (*Qu'est-ce que la Propriété*). Это сочинение он посвятил той самой академии, которая наградила его медалью за первую брошюру и сделала его своим пенсионером. В своем посвящении Прудон говорит:

«Вы, академики, назначая мне пенсию, поставили условием, чтобы я ежегодно отдавал вам отчет в своих занятиях. Я исполняю ваше желание и считаю долгом напомнить вам, что постоянно занимался, с целью принести пользу моим согражданам и в видах умственного и нравственного развития самого многочисленного и бедного класса рабочих. — Вы одобрили эту цель, и мне остается только представить на суд ваш мое сочинение, написанное по вашей программе».

«В этом сочинении я рассуждаю о собственности. Спешу предупредить вас, что я дурно отзываюсь о законооведах и жестоко нападаю на экономистов. Я не люблю вообще этих господ: их чванство и скудоумие меня бесят. Кто понимает их, конечно, не осудит меня за обличение их нелепостей».

«Еще несколько слов о значении моей книги: в ней нет литературных достоинств. По моему искреннему убеждению, в наше время и в нашем обществе писателю не следует заботиться о красоте слога; литераторство — нелепость и неуместность. Говори без страха все, что знаешь — вот правило, которое обязательно теперь для писателя, а вовсе не риторика».

Безансонские академики единогласно осудили сочинение Прудона, как антисоциальное, и публично заявили, что исключают его из списка своих пенсионеров. Прудон отвечал:

«После подобного приговора мне остается только просить читателей не думать, что все мои земляки так же глупы, как члены Безансонской академии».

В то самое время, когда ученые предавали анафеме книгу Прудона, ему уже угрожало судебное преследование. Но, по совету экономиста Бланки, министр юстиции велел остановить дело без последствий.

Сочинение Прудона «Что такое собственность?» навело ужас на всю буржуазию. Действительно, было чего испугаться!

Прудон говорил:

«Если бы меня спросили: что такое рабство? и я ответил бы — убийство, то мне не пришлось бы доказывать этого. Я не удивил бы никого, потому что лишать человека мысли и воли, то есть обращать его в раба, значит посягать на его жизнь, т. е. убивать. Почему же на вопрос: что такое собственность? я не могу сказать — кража, и надеяться, что меня поймут? Разве это последнее предложение отличается от первого?»

«Но сколько шуму и криков подымает мое определение собственности!

— Собственность — кража! Да это набат 93 года! Это воззвание к революции!

— Читатели, успокойтесь! Я вовсе не поджигатель восстания, не агент заговорщиков. Я только выражаю ту истину, которую вы напрасно пытаетесь обойти незнанием. Собственность — кража! Это определение вам кажется богохульством. Но знаете ли, что оно стало бы для нас громоотводом, если бы вздорные предубеждения не мешали нам понимать его, как следует. К сожалению, сколько интересов и предрассудков восстает против него!..

Что делать, однако, если развязка приближается, если сила событий берет свое, независимо от всякого предсказания! И разве можно, наконец, не признавать правды и отказаться от разума?

Итак, читатели, не смущайтесь моим определением собственности. Имейте несколько мужества, чтобы следовать за мной». И если ваше желание искренно, а воля свободна и совесть покойна, если ваш рассудок умеет связать два предложения и вывести из них логическое заключение, то уверяю вас — мои мысли сделаются вашими. Бросая вам, в начале книги, ее последний вывод, я желал только предупредить вас, а не поразить наглостью. Мне верилось и верится еще, что я добьюсь непременно вашего одобрения. Все, что я стану доказывать, покажется вам так осязательно, верно и неоспоримо, что вы невольно изумитесь и скажите про себя: «как же, однако, я не подумал об этом раньше».

«Как поборник равенства, я буду говорить с вами без гнева и злобы, с независимостью мыслителя, с твердостью и спокойствием свободного человека».

Такими словами начинает Прудон свое сочинение; кончается же оно так:

«Старая цивилизация умирает. Восходящее солнце равенства освещает уже землю, и скоро закипит она иною жизнью. Пусть промелькнет еще поколение, пусть дряхлые вероломцы доживут последние дни. Но ты, молодежь, негодующая на разврат нашего века, ты, молодежь, жаждущая правды, борись смело за свободу, если любишь родину и признаешь интересы человечества. Очищай с себя грязь эгоизма и бросайся в народный поток равенства. В нем освежатся и окрепнут силы твои, и ты почувствуешь небывалую мощь: расслабленный ум твой приобретет несокрушимую логичность, а сердце, быть может уже развращенное, станет чистым и пылким. И все представится в истинном свете глазам твоим. С новыми чувствами зародятся и новые мысли: вера, нравственность, право — все заявится тебе в ином, прекрасном и величественном виде. И с упованием и с увлечением будешь ты приветствовать зарю общего возрождения к новой жизни».

«А вы, бедные жертвы ненавистного закона! Я знаю, что вас грабят и унижают; я знаю, что труд ваш бесплоден, а отдых безнадежен... Но утешьтесь: ваши слезы переполнили меру. С горем и отчаянием сеяли отцы, но с радостью пожнут дети».

Прудон, называя собственность кражей, возбудил против себя страшное негодование... но только со стороны людей недобросовестных и преступных, со стороны всех тех, кто живет на счет чужого труда и считает свою покражу — благоприобретенною собственностью.

Прудон назвал собственность кражей. На каком основании? На том, что он считает лихоимство воровством, а экономисты объявляют это преступление правом собственности и с негодованием восстают против законов о лихве.

Лихоимство = право собственности.

Лихоимство = кража.

Лихоимство за лихоимство, в результате остается: собственность = кража.

Так и сказал Прудон. Разве он виноват, если экономисты, ярые защитники права собственности, доказывают, что лихоимствовать, то есть красть, значит пользоваться этим правом?!

По убеждению Прудона, собственник — вор вовсе не потому, что имеет собственность, а потому что лихоимствует, крадет. Уничтожьте лихоимство, и собственность перестанет быть кражей. Вот все, чего желает Прудон. Что же преступного в этом желании? Не того ли самого желали Моисей, Иисус Христос, апостолы и отцы церкви, которые осуждали и проклинали лихоимство! «Не украдь!» — говорит заповедь Моисея и Христа. «Бери лихву», т. е. воруи, — говорят экономисты. На чьей стороне правда?

Итак, если собственность приобретается, сохраняется и увеличивается путем лихоимства, то она обращается в кражу. И подобная собственность, по словам Прудона, — преступна, потому что порождает и развивает нищету рабочего народа, укореняет разврат в обществе, извращает совесть людей и отрицает их свободу, равенство и братство.

«Экономисты должны знать, — говорит Прудон, — что задельная плата, которую получает работник, должна давать ему возможность выкупить произведение своего труда. И зная это, почему они осмеливаются защищать законность лихоимства, как права собственности? Почему они решаются уверять, что брать барыши не бесчестно? Хозяин платит работнику три франка, а сам продает произведение его труда вдвое, втрое, вдесятеро дороже, лихоимствуя и на счет материала, и на счет рабочей платы. Разве он поступает честно и справедливо?!»

«Во Франции 20 миллионов рабочих занимаются всевозможными отраслями производства и приготавливают массу вещей и товаров, необходимых и полезных для общества. Сумма всех заработков равняется ежегодно, положим, 20 миллиардам франков. Но вследствие того, что взимаются подати, пошлины и всякие налоги, берутся взятки, получают проценты, барыши, доходы, короче, вследствие того, что существует лихоимство, все произведения труда продаются не за 20, а за 25 миллиардов. Что это значит? Это значит, что масса рабочего народа, которая должна жить плодами своего труда, не может ими пользоваться: ей приходится платить 5 за то, что сработано только за 4, или голодать один день из пяти».

«Пусть найдется во Франции такой экономист, который докажет мне, что мой расчет неверен, и я тотчас принесу публичное покаяние и отрекусь от слов: «Собственность — кража».

Такого экономиста, разумеется, не нашлось не только во Франции, но не найдется никогда и в целом мире, пока будут жить люди и существовать математика.

Итак, лихоимствующая собственность несправедлива, преступна и, в заключение всего, нелепа, т. е. логически невозможна.

В своей книге Прудон логически и математически доказал:

1) Собственность невозможна, потому что сама по себе ничего не производит, а требует, чтобы для нее работали, т. е. давали собственнику средства жить без труда на чужой счет.

2) Собственность невозможна, потому что требует лихвы и заставляет платить себе больше, чем сама дает.

3) Собственность невозможна, потому что без труда уничтожается, а при труде от него избавляется. Другими словами: она не может существовать без рабочих, а с рабочими развивает класс тунеядцев и воров.

4) Собственность невозможна, потому что убийственна. Она постоянно грабит работника, лишает его средств к жизни, оставляет без труда и заработка и, в конце концов, морит медленным голодом, убивает рядом лишений и страданий.

5) Собственность невозможна, потому что с нею общество доходит до самопожирания. Общество пожирает себя насильственным прекращением и застоём работ и возвышением продажной цены произведений труда. С одной стороны, не всем работникам удастся работать, и они осуждаются голодать, а с другой — все рабочие, которым позволено трудиться, не в состоянии пользоваться плодами своего труда.

6) Собственность невозможна, потому что порождает деспотизм, поддерживает и укореняет насилие власти. Собственность несовместна с политическим и гражданским равенством; следовательно, она невозможна.

7) Собственность невозможна, потому что лихоимство, которым она живет и держится, тоже невозможно: в обществе чистый доход несмыслим.

8) Собственность невозможна, потому что, посягая на труд, посягает и на себя: собственники губят не только рабочих, но и собственников путем монополии и конкуренции. Говоря иначе: собственность отрицает, уничтожает собственность.

9) Собственность, наконец, невозможна; потому что доводит до взаимности воровства, грабежа, насилия, убийства и обращает людей в диких зверей, а общественную жизнь в людоедство.

Вот что такое собственность, против которой восставали разум и совесть всех народов, всех святых и честных людей. Кто защищает собственность, основанную на тунеядстве и лихоимстве, тот, значит, отрицает здравый смысл и правду, тот плюет на Евангелие и распинает Христа.

«Собственность, — говорит Иоанн Златоуст, — будет законна и справедлива только в том случае, когда мы будем пользоваться ею сообща. Обожатели собственности валяются как свинья в грязи, копошатся, как жуки в навозе, и воображают, что наслаждаются! Зачем ты, человек, так любишь собственность? Что нашел ты в ней привлекательного? Она вовсе не делает тебя умнее, великодушнее, умереннее, добрее и человечнее. Она не учит тебя обуздывать гнев и побеждать дикие страсти. Она не только не может укоренить ни одной добродетели, но напротив того — искореняет все добрые качества, сушит и мертвит душу пагубными пороками — своекорыстием, алчностью, безумною злобою, гордостью и тщеславием. — Да, непримиримый враг и убийца наш — собственность, которая всегда изменяет своему хозяину. — Теперь нельзя положиться ни на кого, не на друга, ни на брата.

Всюду свирепствует гражданская война, не открытая, а тайная, изменническая война. Всюду видишь только лицемерие и маски; всюду волки в овечьей шкуре. Скорее можно жить среди явных врагов, чем в обществе таких граждан. Кто вчера нам льстил, унижался и целовал руки, тот сегодня снимает маску и вступает во вражду. Что за причина? Жажда богатства, страсть к деньгам, та неизлечимая болезнь, та чума, которая заражает все общество».

Что было во времена Златоуста, в IV веке по Р. Х., то и теперь.

Работайте, твердят беспрестанно народу, работайте, копите деньги и делайтесь в свою очередь собственниками. Работники, вы — рекруты собственности. Когда она достанется вам, когда вы отведаете человеческого мяса, тогда будете довольны и забудете прежние лишения.

Из пролетариата попасть в собственника! Из раба превратится в тирана! Из жертвы в убийцу!

— Что такое пролетарий?

Пролетарий — работник, который трудится на глазах хозяина, собственника. Такому работнику говорится: "Тебе нет дела до собственности; ты не должен рассуждать о ней и проверять ее права и преимущества. Тебе дают задельную плату и больше ничего. Делай, что прикажут сегодня, а завтра ты будешь волен делать, что захочешь, если тебя оставят без работы. *Travailler pour les autres, c'est mourir pour les autres!*{40}

«Каждый собственник, — говорит Прудон, — пользуясь чужим трудом, в глубине своей грязной души питает мысль об убийстве. — Напрасно уверяют, будто собственник, который трудится и, вместе с тем, получает доходы, не тунеядствует. Он только заставляет платить себе больше, чем обыкновенный дармоед, который живет одними доходами. Что бы ни делал собственник, во всяком случае доход его — вознаграждение за право тунеядства, то есть грабеж. И заметьте, что подобный грабеж, который осуждается разумом, совестью и христианскою верою, оправдывается экономистами и защищается законниками!»

«Присутствовали вы когда-нибудь при допросе обвиненного? Замечали вы, как он хитрит, увертывается, отговаривается, путается? Его допрашивают, опровергают, доказывают ложность его показаний, короче — преследуют, как зверя на охоте, и ловят на каждом слове. Он то соглашается, то возражает, запирается, отрицает и поминутно впадает в противоречие».

«Так точно ведет себя собственник, когда вызывают его на объяснение и оправдание права собственности. Сначала он вовсе отказывается отвечать и только возмущается, негодует и угрожает взглядом, в котором выражается злоба. Затем, когда ему приходится поневоле объясняться, он начинает подбирать разные избитые доводы, пускается рассуждать об условиях общественной жизни, о необходимости порядка, о законности, о правах наследства, о свободе договора, который освящает личную собственность, и т. д. Разбитый на всех этих пунктах, собственник выходит из себя и, с пеною у рта, бешено кричит: «Я владею законно, потому что работал, производил, улучшал, создавал. Этот дом, эти поля,

эти деревья — плод трудов моих, произведение рук моих. Я строил, сажал, сеял, обращал пустыню в плодородную землю. Я присматривал за рабочими, платил им, и, если бы не нанимал их, они давно бы околели с голода. Никто за меня не расходовал и цц с кем я делиться не хочу».

«Ты работал, собственник! Зачем же ты болтал о порядке, о законах, о наследственном праве? Как! разве ты не был уверен в своей правоте или желал только потешиться над людьми и правдой?»

«Ты работал! Но что общего между трудом, который обязателен для всякого, и присвоением того, что принадлежит всем безраздельно? Разве ты не знал, что земля, как вода, воздух и свет, не может поступать в частное, исключительное пользование?»

«Ты работал! Но не заставлял ли ты работать за себя других? — вот что скажи. Каким же образом, работая для тебя, они потеряли то, что приобрел ты, не работая для них? "

«Ты работал! Прекрасно. Но посмотрим, однако, что ты сделал. Мы высчитаем, свесим, смерим, и тогда берегись! Если окажется, что ты разбогател на чужой счет, ты отдашь все до последней полушки». (Qu'est ce que la Propriété){41}.

«Капиталисты! Нападая на собственность, я вовсе не отрицаю права на пользование плодами честного труда; я отрицаю только барыши с капитала и доходы с собственности. Поймите же это!»

«Вы говорите часто, что собственность сама по себе хороша, но дурны только те собственники, которые злоупотребляют своим правом».

«Прекрасно! Но что такое собственность, спрашиваю я вас? Разве это не право пользования и, вместе с тем, злоупотребления? Как же отделить одно от другого? Как запретить, например, собственнику не злоупотреблять? Разве закон может определить для каждого случая, где кончается пользование и начинается злоупотребление собственности? Нет. Итак, что же оказывается? Оказывается то, что по принципу и сущности собственность безнравственна».

Все отщепенцы, начиная с апостолов и отцов церкви и кончая Прудоном, отрицали собственность. Отчего же законники и судьи, называя себя христианами, не признавали и не признают этого отрицания? Почему они считают себя вправе преследовать и наказывать тех, которые разделяют убеждения людей святых? Собственность лихоимствует, крадет, истощает и убивает бедняков и рабочих, а законы и суды защищают ее! Где же правда?

«Да, — восклицает Прудон, — и законы, которые поддерживают собственность, даже безнравственную, — позорны, и суды позорны, и полиция позорна». (Contrad. éconóm. 2 vol.){42}

В другом месте он говорит: «Собственность, в экономическом смысле этого слова, — не что иное, как veto, т. е. запрещение, которое капиталисты налагают на обращение всех произведений труда. Чтобы снять это запрещение, приходится платить собственности

известную пошлину, которая, смотря по обстоятельствам, называется доходом, процентом, барышом, учетом, привилегией, премией, монополем, взяткой и т. д.»

«Эта чудовищная система налогов поддерживается полицией, судами, одним словом — государством. Она порождает целый ряд преступлений — торговый и промышленный обман, монополю, ажиотаж и т. д.»

«Итак, отрицая собственность, как причину этих зол, я отрицаю: 1) все господские права собственности, под какими бы названиями они ни заявлялись; 2) всех спутников собственности, несмотря на их величие, блеск и силу; 3) все палиативы или полумеры, которыми желают, не посягая на собственность, ослабить ее пагубное действие».

«Я доказал, что такое собственность, — говорит Прудон. — Верьте мне: я не изменю своей клятвы и буду верен делу отрицания, несмотря на скрежет зубовой». (Qu'est-ce que la Propriété){43}.

С 1840 года, в течение двадцати пяти лет, Прудон не переставал отрицать старого порядка, основанного на грабеже и насилии, и умер в святости Отщепенства.

В 1849 году Прудон воскликнул с трибуны: «Социализм не спускает глаз с капитала!» Этими словами он хотел сказать, что коренной вопрос Отщепенства заключается в отрицании прав капитала.

С этой поры «Социализм» стал пугалом для капиталистов и камнем веры для рабочих.

«Я за рабочих против капитала, — говорил Прудон. — Я не желаю никем управлять и не желаю также, чтобы управляли мною».

«Чтобы не было эксплуатации человека человеком посредством капитала».

«Чтобы не было эксплуатации посредством насилия человека над человеком».

«Свобода! — Вот первое и последнее слово общественной жизни».

«Защитники эксплуатации говорят: „Социальная революция есть цель, а революция политическая (т. е. перемещение власти из одних рук в другие) — средство“. Другими словами, они говорят: дайте нам право жизни и смерти над вами, и мы сделаем вас свободными!.. Вот уже более шести тысяч лет, как то же самое проповедуют отъявленные мошенники и тираны».

«Нет, — говорю я, — наоборот — политическая революция — цель, а социальная — средство. Воспитайте людей так, чтобы они не гонялись за властью, не старались бы эксплуатировать друг друга и считали бы себя равными — и цель ваша достигнута: политический порядок устроится и не потребует ни полиции, ни суда, ни жандарма, ни палача».

Облегчить участь бедного и самого многочисленного класса рабочих, обеспечить их труд и развить их умственные способности — вот задача Социализма. Всему своя пора! Довольно

уже рабочий народ потрудился для тунеядцев; пора ему подумать и о себе.

«До революции 1789 года, — говорит Прудон, — церковь, как заботливая и нежная мать, утверждала: все для народа, но все с согласия духовенства. Монархия, в свою очередь, объявляла — все для народа, но все волею короля. Дворянство, наконец, уверяло: все для народа, но все по желанию господ».

«Затем, революционеры сказали: все для народа, но все по закону государства, по воле правительства».

«Наконец, плутократы решили: все для народа, но все в интересах буржуазии».

«Кто же, в заключение, заявит — все для народа и все народам? Отщепенец, социалист или никто. Все для народа: промышленность, торговля, земледелие, образование и т. д. Все народам: промышленность, торговля и т. д.»

«О рабочий народ, бедный, забитый, ограбленный народ! Когда ты перестанешь слушать шарлатанов и плутов, которые обещают постоянно облегчить твою жалкую участь путем политических реформ. Сообрази же, наконец, что всякая такая реформа основана на произволе, насилии и эксплуатации, то есть на всем том, что следует искоренять».

«А вы, великие политики! Вы толкуете о правах народа, а сами стоите на коленях перед золотым тельцом. Откажитесь поскорее от всяких обещаний, объявите прямо о стачке своей с лихоимцами, будьте искренними консерваторами и не лицемерьте во имя народа. Ваше настоящее дело — реакция; вы ничего лучше не придумаете, потому что не понимаете действительных желаний народа и не хотите их понимать. Народ не разделяется на партии. Но вы служите интересам известных партий, следовательно, действуем не в пользу народа, а против него. Консерваторы, вы считаете себя ловкими политиками и не замечаете, что вы слепы и водите за нос слепых».

«Социальный порядок отрицает всякое политическое устройство», — говорил Прудон и, в силу этого принципа, считал каждую конституцию если не обманом, то нелепостью.

«Как! — восклицал он, — вы желаете сделать людей свободнее, разумнее, честнее и, приступая к исполнению этого желания, требуете, чтобы они предварительно отказались от воли, разума и отдались в полное наше распоряжение! Кто вы такие? Откуда вы взялись? Почему считаете себя мудрецами и полагаете, что прочие не сумеют подымать сами о себе? Все, что есть разумного, полезного и справедливого в обществе, создано свободой и логическим развитием прежних фактов. Что же касается власти, то она существует только для поддержания старого порядка. Желая придать ей другое значение, желая обратить ее в рычаг движения, вы делаете ее только орудием деспотизма и насилия. Кроме полицейской обязанности, государство не должно знать ничего. Всякое новое постановление, всякая новая мера с его стороны только помеха общественному развитию и нарушение порядка. Его труд — лихоимство; его поощрение — монополия, привилегия; его влияние — порча. Можно написать тысячи томов о государственных проделках и злоупотреблениях в политике, в религии, в промышленности, в публичных работах, в финансах, в администрации и т. д.»

«Зачем вам власть? Зародилась в вашей голове полезная идея? Сделали вы важное открытие? — Спешите заявить об этом вашим согражданам, затем приступайте сами к делу, предпринимайте, действуйте и не просите у правительства никакого пособия. Обращайтесь к обществу, будите его, вызывайте в нем охоту к самостоятельности. Вместо того, чтобы нападать на власть, старайтесь избегать ее вмешательства и учите народ обходиться без нее для достижения богатства и порядка».

«Так понимал я всегда социализм; говорю по совести. И это всегда удаляло меня от разных практически-политических школ. Участвуя в законодательном собрании, я почти всегда подавал голос отрицания. Кроме одного проекта, предложенного мною этому собранию 31 июля 1849 года, когда я желал заявить новые принципы социальной жизни, я не обращался никогда к правительству ни с какою просьбою, ни с каким предложением. Как социалист и отщепенец, я не ожидал от власти ничего, кроме насилия, и требовал только свободы, одной свободы».

«Но вот раздаются громкие голоса...

«Власть, — восклицают плутократы, — должна устрашать и уничтожать тех непримиримых врагов общества, которые ненавидят всякий порядок. Эти враги — отщепенцы».

«Мы не будем оспаривать их теории. Скажем только, что нет той крайней свободы, которая удовлетворила бы их, нет слов, которыми можно было бы успокоить их. Они опутали общество тайною сетью, с целью без сомнения преступною. Позволить им злоумышлить во мраке было бы пагубною слабостью. — Трудолюбивые и честные работники гнушаются ими столько же, как и мы. Они знают, что отщепенские воззрения, стоящие вне права и нравственности, нелепы и неосуществимы; что, отняв у одних излишек, не доставишь другим даже необходимого; что такой образ действия убил бы кредит, уничтожил бы общественное богатство и породил бы общую нищету и отчаяние. Они знают, что только свободный труд под покровительством сильного и справедливого правительства может развить собственность и даровать благосостояние большинству. — Правительство должно положить конец этому пагубному влиянию во что бы то ни стало».

«Отщепенцы стоят вне права и нравственности, говорите вы, — отвечал им Прудон. — Вне права и нравственности! Следовательно — вне закона! И во что бы то ни стало следует поразить Отщепенство!»

«В первую революцию у нас были отщепенцы, люди бедные, недовольные общественным порядком, никогда не сказавшие свободе — довольной. Это были люди, обожавшие разум, утверждавшие совесть человека, верившие в справедливость и бывшие честными. Их называли в то время санкюлотами».

«Но знаете ли, что я скажу вам, плутократы и деспоты? Если бы санкюлотство, отщепенство, было таково, каким вы его представляете; если бы в эту годину политического и общественного отчаяния я был бы действительно бессовестен, беззаконен и безжалостен — знаете ли вы, что я сделал бы!»

«Я не писал бы и не говорил о принципах, потому что в принципах кроется спасение для обществ и для правительств. Пусть, среди общего молчания, империя душист ненавистные принципы 89 года. Не боясь шпионов, я помалкивал бы и посмеивался втихомолку».

«Если же, не устояв против искушения, я решился бы писать, то ограничил бы мысль свою пределами беспощадной оппозиции. Вместо того, чтобы философствовать, я мстил бы. Умалчивая о принципах, я таил бы свое негодование и прятал бы свои когти. Пускаясь только в ученую критику, я сделал бы с моралью то же, что доктор Штраус с преданием церкви. Я показал бы, что справедливость не имеет основы ни в религии, которая ставит предмет ее вне человечества, ни в философии, которая обращает ее в отвлеченную идею; что ничто не доказывает в нас присутствия совести, и что поэтому право и обязанность — просто условные отношения; преступление — только военный риск, а общественный порядок — страховая премия. Доказав все это, я закончил бы презрительной насмешкой над свободой, равенством и добродетелью. Церковь со всеми религиозными сектами была бы раздавлена, уличена в противоречии и лицемерии. Наконец, в довершение моей мизантропической радости Отщепенство, которое всегда стремилось возродить общество к честной жизни, это самое Отщепенство, избличенное в бессилии, обратилось бы в миф, в химеру!»

«Вот что я мог бы сделать и чего не захотел сделать. В моем ужасном Отщепенстве я предпочел говорить обществу со всею независимостью моего разума и со всею энергиею моего нравственного чувства. Я видел, что для Отщепенства пришла пора или навсегда уничтожиться или, воссоздав справедливость, подать утопающему обществу руку спасения».

Отрицание существующего порядка грабежа и насилия — вот значение и назначение Отщепенства.

«Отрицать, беспрестанно отрицать! — восклицал Прудон в порыве страстного увлечения правдой Отщепенства. — Цель этого постоянного, неизменного отрицания состоит в том, чтобы освободить человека от рабства мысли, в котором держит его практическая жизнь с ее позором и преступлением».

Такое отрицание, разумеется, непонятно и противно людям с практическим взглядом на вещи, людям старого закала, потому что они хотят во что бы то ни стало быть мерзавцами. Стоит ли, после этого, рассуждать с такими нравственными уродами и мертвецами! Им говорят, что они идут вспять и верх ногами, а они твердят о своей практичности! Им говорят и доказывают, как дважды два, что они мерзавцы, а они обижаются и злятся! Что это — крайнее тупоумие и разврат совести или бессознательное, невольное признание своей подлости? Может быть и то, и другое.

Отрицая современный порядок со всеми его гнусностями, Прудон всегда вызывал против себя общее негодование.

«С 1849 года, — говорит он, — я стал в глазах общества, по выражению одного журналиста, „человеком ужаса“, *homme-terreur*.

Не думаю, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь возбуждал против себя такое остервенение общественной, развращенной совести, как я, несчастный отщепенец. На меня лился поток насмешек, оскорблений, клевет и проклятий. Меня позорили и бичевали в журналах и газетах, в песнях и на сцене, в биографиях и карикатурах. Мне угрожали судом, тюрьмой, эшафотом, адскими муками. От меня отрекались прежние друзья, на меня доносили мои прежние единомышленники и во мне видели отъявленного врага мои старые товарищи и сотрудники. Набожные дамы присылали мне образа и ладонки, чтобы изгнать из меня нечистого духа. Публичные женщины и каторжники иронически приветствовали меня письмами, в которых выражался разврат общественного мнения. В законодательное собрание поминутно поступали просьбы о лишении меня депутатского звания...

Позволяя Сатане мучить Иова, Бог сказал: „Располагай его телом и душой, как хочешь, но не лишай его жизни“.

„Жить значит мыслить. — Итак, посягая на мою совесть, извращая мои мысли и задушевные убеждения, общество поступало со мною хуже, чем Сатана с Иовом. Оно называло меня проповедником воровства, извергом, чудовищем...“

„Да, вряд ли кому так удалось, как мне, расшевелить общество и поразить его в глубь испорченного сердца и заглохшей совести. И что же? В то самое время, когда подобное общество, в лице своих практических мудрецов, навязывало мне свое бесчестие, я спокойно говорил ему: Опомнись! В моих словах ты глотаешь свой позор и свое осуждение“.

„Лицемерное, святотатственное общество! Ты хвастаешь своими пороками, а между тем дрожишь при мысли о смерти и, не веруя не во что, думаешь, однако, что надо же все-таки во что-нибудь верить! В тебе погасла вера; но при всем твоим нравственным безобразии ты чувствуешь, что тебя не удовлетворяет практическая мудрость, и тебе хочется еще чего-то другого. У всех руки грязны, все запятнали себя воровством, а между тем каждый внутренне презирает лихоимство... Итак, нечего унывать! В этом гнилом обществе шевелится еще что-то человеческое — и оно может возродиться к честной жизни“.

„Нам, отщепенцам, нам, пророкам новой веры, нечего ожидать в настоящем; оно нас отлучает. Сколько из нас погибает — и никто не оплакивает нашей злосчастной доли. Та самая толпа, которой мы пролагаем путь к прогрессу, равнодушно или презрительно проходит мимо нас и топчет наши могилы. Пусть идет... Вперед, вперед! — вот наш лозунг, наша вера, наш фанатизм. Правда, мы падем, все, один за другим, но наше дело не пропадет даром. Наука соберет плоды нашего геройского отрицания, а потомство насладится тем счастьем, которого нам не доставало. Пусть же настоящее нас отвергает: это отвержение придает нам силу, и без отщепенства мы были бы ничтожны, гадки и вредны“.

Таков был Прудон, этот примерный отщепенец!